

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВ «РЕБЕНОК-РЫЦАРЬ» В ТРИАДЕ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ» ПОВЕСТЕЙ А. БЕЛОГО

Исследуется связь образов ребенка и рыцаря в триаде «автобиографических» повестей А. Белого. Используются культурно-исторический, сравнительно-сопоставительный, мифопоэтический методы. Через эволюцию символов проанализирован посвятельный путь героя Белого (сначала младенца, а затем – рыцаря) в повестях «Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Записки чудака». Выделены ключевые мотивы (драконоборчество, жертвоприношение, сновидение, обращение к «слову живому»), использованные Белым для медиации между пространством мифа, где начинается свой путь ребенок, и рыцарского романа – кульминации этого пути.

Ключевые слова: рыцарь; ребенок; «Записки чудака»; «Котик Летаев»; «Крещеный китаец»; Белый; медиация.

В художественном мире Андрея Белого выделяется ряд маркерных образов, которые с той или иной частотой повторяются и обнаруживаются и в его поэтических, и в прозаических произведениях. Более того, некоторые из этих образов связаны между собой не только синхронически, но встроены в своего рода диахроническую шкалу – они эволюционируют и замещают один другой, подчиняясь ходу линейного или циклического времени. Одна из подобных символических пар у А. Белого включает в себя рыцаря и ребенка. Ребенок при этом выступает и как часть названной цепочки образов, и непосредственно как звено-медиатор между пространствами разных виртуальных реальностей (миф, сказка, героический эпос).

Принцип триады является структурообразующим в литературных трудах Андрея Белого, но также и в схеме его собственной судьбы. Е.В. Глухова отмечает, что от софиологии Вл. Соловьева 1900-х гг. Белый переходит к увлечению оккультными течениями (теософия, розенкрейцерство), а затем в 1910-х гг. обращается к антропософии Р. Штейнера [1]. Треугольник личной биографии Белого изоморфен триаде «автобиографических» повестей писателя («Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Записки чудака»), которые связывают между собой повторяющиеся художественные образы: «Сам автор по-видимому именно так и представлял собственную духовную эволюцию – через эволюцию собственной системы образов и символов» [1. С. 7].

«Идея о пути», пишет З.Г. Минц, была присуща практически всем представителям мифопоэтического символизма. Она была частью «глобального» мифа о «пути мира» [2. С. 140], т.е. о его судьбе и месте человека в нем. А. Белый анализирует «путь» человечества в своей работе «История становления самосознающей души», где текст мифа о мире помещен в изначальные временные координаты – не линейного, но мифологического времени с вечным возвращением к первоначалу и на круги своя. Так, момент рождения самосознающей души Белый приравнивает к появлению на свет символического младенца, на защиту которого встанет рыцарь-повествователь из «Записок чудака».

В повести «Котик Летаев» в мифологическом пребытии начинается посвятельный путь героя Андрея Белого. Затем младенец «переступает» из плана бессознательного в план реальный, открывая для себя

новую вселенную («Крещеный китаец»). «Записки чудака» становятся кульминацией посвятельного пути, когда ребенок принимает венец сознания и жертвует своей связью с мифом, т.е. отказывается от своего прошлого «Я» и вступает на путь рыцарского посвящения.

«Записки чудака», появившиеся в печати в 1922 г., вызвали неоднозначную реакцию современников. В частности, О. Мандельштам откликнулся на книгу крайне негативной рецензией: «Книга хочет поведать о каких-то огромных событиях душевной жизни, а вовсе не рассказать о путешествии. Получается приблизительно такая картина: человек, переходя улицу, расхищая о фонарь и написал целую книгу о том, как у него искры посыпались из глаз. Книжка Белого – в полном согласии с немецкими учебниками теософии, и бунтарство ее пахнет ячменным кофе и здоровым вегетарианством. Теософия – вязаная фуфайка вырождающейся религии. Издали разит от нее духом псевдонаучного шарлатанства» [3. С. 292]. Современные исследователи, впрочем, рассматривают форму и сюжет «Записок чудака» как сознательно выбранный автором шифр, вскрыть который могут только посвященные: «Сюжетно-семантическая связность “Записок чудака” на первый взгляд кажется “перевернутой”, изложение событий в тексте дается как бы в обратной и спутанной последовательности. Вместе с тем авторские “подсказки”, рассыпанные в тексте, ориентируют внимание “посвященного” читателя именно на эту “точку” генерирования мифа: “сокрытие” смыслового ядра текста объясняется авторской интенцией на предельную сакрализацию пространства романа» [1. С. 11].

Посвящение в рыцари, совершаемое в «Записках чудака», – автобиографический мотив, восходящий к учению розенкрейцеров. В 1909–1910 гг. Андрей Белый, Вячеслав Иванов и Анна Рудольфовна Минцлова, одна из первых русских учениц Рудольфа Штейнера, образовали символический посвятельный треугольник, эмблемой которого стал девиз розенкрейцеров: «От Бога рождаемся. Во Христе умираем. Воскресаем в Духе Святом» [4. С. 229]. Белый был также участником «Ордена Рыцарей Истины», организованного Минцловой, а мотив посвящения в рыцари стал вехой на жизненном его пути и органично вошел в тексты многих произведений писателя.

В «Записках чудака» «Я» героя-рыцаря существует в тесной связи с фигурой автора текста. Повествователь возлагает на себя бремя рыцарства, но и свой жизненный путь А. Белый воспринимает как несение теургического креста. Н. Берберова, оставившая воспоминания о Белом периода начала 1920-х гг., пишет: «Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы мы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа» [5. С. 198].

В «Записках чудака» А. Белый определяет рыцарство как сохранение в себе символического ребенка вопреки многочисленным нашествиям «варваров» – представителей Генерально-Астрального штаба, узнавших о рождении младенца. Злые силы у А. Белого – это не только Ариман, или дьявол, но также субстанция пыли (полисемический лейтмотив его текстов), заслоняющая человека от света, т.е. от соприкосновения с абсолютом, «импульсом Христа».

А. Белый создает сказочно-мифический апокриф, в котором соединяются элементы средневекового героического эпоса с его драконоборческими мотивами, рыцарского романа и евангельских сюжетов о страстях Христовых. Нарратор в качестве защитника новорожденного младенца несет его в себе, как волхвы когда-то несли дары Иисусу – с тем же трепетом, но с осознанием собственного бессилия перед грядущими несчастьями. Метафора рождения младенца вскрывает истинное значение мифологемы детства в поэтике Белого. Открытие в себе символического ребенка – это помазание на мученический путь, ощущение своей личности частью «Я», воплощение в жизнь принципа «Ты – еси», обожение как обращение к прайсточнику бытия, к доисторическому прошлому и духовной прародине, к себе самому изначальному.

При этом рыцарь выступает как избранный наследник символического младенца. Об их духовном родстве свидетельствуют неоднократные отсылки к артуровскому циклу и историям поиска святого Грааля. Так, вынашивание младенца-Духа в себе равносильно подъятию драгоценной чаши над головой: «И до священного места ее донести, передать ее рыцарям; одно время я верил, что я – удостоюсь: Причастия; от причащения этого закипит моя кровь; может быть, вся болезнь – в перемещении сознания, от подсознательно сбегающей мысли, что еще здесь, на земле, преображение совершится, и я, Парсифаль, искуплю свою страшную амфортасову рану» [6. С. 312]. Легенда о рыцаре Парсифале переработана Белым в повесть о чуде – человеке странном, изумляющем мир, но одновременно уникальном, причастном его тайнам. Рыцарство и донкихотство переплетены в образе нарратора-крестоносца. Текст Белого детерминирует почти карнавальная двойственность бинарных оппозиций: чудо / чудачество, святость / скоморошество, старость и смерть / рождение и детство.

Младенец в «Записках чудака» играет парадоксальную роль главного учителя и проводника героя, т.е. его символического «отца». «Отец» поручает рыцарю противостоять силам Аримана. В повести совершается не только символическое перевоплощение

младенца в рыцаря, но усложняются и образы его антагонистов. Так, красный мир, старуха из «Котика Летаева», тени и чернороги из «Крещеного китайца» в «Записках чудака» принимают форму «сэров», сыщиков и шпионов, черноусого брюнета в котелке, иезуитов-искусителей. Впрочем, номинация «чернорогие тени» сохраняется и в «Записках чудака»: «Кажется – в черный воздух потянутся из отверстия двери рои чернорогих теней – не людей, – к ясноглазым вагонам, нам поданным» [6. С. 346]. Они возвращают к жизни запыленный мир «Крещеного китайца», который нарратор покинул, когда его озарил свет Духа: «Я пытался глядеть на его [брюнет в котелке] силуэт, отвлеченный от черточек, от штришков, от ужимок, которыми он себя осыпал, точно пудрой; и пудра слетала» [Там же. С. 347]. За младенцем бросаются в погоню не только тени, но и женщина в черном, она же агония. И если на минуту допустить встречу с ней, поддаться морокам запыленного мира, герой и сам может превратиться в тень: «Я тень: неприлично гуляю на сером экране; безостановочной, кинематографической лентой движения передаются какому-то миру – иному, не нашему» [Там же. С. 403].

Тени преследуют рыцаря и во сне, и наяву, пытаются ввести в его астральное тело германин или предложить ему отравленную сигарету в поезде во Франции. Брюнет-отравитель из поезда превращен Белым в иконический знак пустоты и пролома «в никуда и ничто»: «Он – открытый отдушник, в который нам тянет угарами невероятного мира, по отношению к которому наш мир жизни ничто» [Там же. С. 366]. Символизм образов, который, строго говоря, не осознавался Котиком Летаевым (Котик попросту жил в этом мифологизированном мире), в «Записках чудака» многократно усиливается. Одна мифологема может представлять собой и отсылку к евангельской притче, и аллюзию на текст средневекового поэта или автора рыцарского романа, а также использоваться в качестве элемента саморефлексии – возвращать читателя к мотивам, разработанным в «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце». Так, тени, чернороги, старухи объединены под общим именем «шпион», «сэр», «ничто» и, наконец, «черный архангел», «черт». Повествователь путешествует по Европе, но одновременно спускается все ниже и ниже по кругам Дантова ада: «Это было явление несомненно серьезнее, чем явление одесского доктора на французской границе; вторая граница – опаснее первой; да, если каждый брюнет – черный ангел, сэр – черный архангел» [Там же. С. 377]. Прогулка по Лондону вместе за чертом осмысливается как переход границы реального мира: Лондон, безусловно, должен был лопнуть, оставив за собой все ту же пустоту – «черт был чертой, за которой встречал меня мир; черт – черта: она тень» [Там же. С. 448].

Рыцарь совершает циклическое возвращение к поэтико-символическим мотивам «Котика Летаева», в ходе которого усложняются отдельные образы мифа. Самосознающая душа, вынашивающая символического младенца, трактует мифические образы одновременно как иконические и как символические: Белый в прозе возвращается к своим поэтическим загадкам, где реальный и ирреальный планы высказывания пе-

рекрывают друг друга. Чудак Белого действительно путешествует по горам и ледникам Норвегии, поэтому горно-ледниковая образность воспринимается читателем как существующая на самом деле. В то же время лед – это синоним германина или отравленной сигаретки «сэров»: «Кусок твердого льда ощущаю в себе и доселе; его я привез из туманного Альбиона: британец искусными действиями положил в меня лед» [6. С. 390]. Лед также маска и футляр Леонида Ледяного, скрывающего в себе «чудака», который прячется от международного Генерально-Астрального штаба. Это цит герой трагедии (по высказыванию Белого), оторвавшегося от человеческого рода.

Все события жизни повествователя описываются как происшествия магического порядка и оцениваются в зависимости от соприкосновения со светом или тьмой. Тени проводят на улицах городов черные мессы, используя собственные шифры и трафареты, завлекая к себе прохожих. Их главная цель – «Он», новорожденный младенец, «тот самый, которого ищут повсюду».

На страницах «Записок» находят свое место змеи и драконы из «Котика Летаева», причем змеиная образность одновременно реальна и ирреальна. Доказательством служит история мальчика, увидевшего гада на необитаемом острове. Прошло много лет, мальчик состарился, а история превратилась в сон о безобразном драконе с «колючками перепончатых крыльев», в картину, нарисованную сыном старика, изображавшую младенца и страшного дракона: «Все вздор: биография начинается с памяти о летаниях в космосе: мощными массами – как летают огромными, мощными массами волны» [6. С. 423]. Духовная биография для Белого важнее эмпирической, но правда мифа важнее фантазии, поэтому «Я», опущенное в тело, как в пасть дракона, заставляет это тело болеть и извиваться змеиными массами, т.е. выступать одновременно зеркалом реальности и символа.

Драконье звериное царство, отсылающее читателя к сказочной реальности «Крещеного китайца», включает в себя не только Европу, но и Россию, а точнее, Москву, Арбат и гимназию Поливанова. Преподаватель латыни, или, как его называет Белый, «мучитель латыни», Казимир Кузмич отличается чертами «откровенного ящера»: «Было в ней что-то от птицы: не то от цыпленка, не то от орленка; соединение птицы и ящера в нем выявляло: дракона; они – “Казимир-Кузмичи” – как драконы, роились над снами моими» [Там же. С. 465]. Сны времен гимназии отличаются невероятной яркостью образов, созданных детским сознанием. Так, Казимир Кузмич водит знакомство с обитателями Беллиндрикова Поля: Желторогами, Двурогами, Безрогами и др., которые предлагают «чудаку» недостойные сделки. Опасности, как в жизни, так и на бумаге, ариманизированы. В Казимире Кузмиче есть что-то от черта: он виляет хвостом вишащего фрика, его голова клювовидна, а руки – сжатые цыплячи лапы «с бугорчатой пузыристой кожей». Из Казимира Кузмича проглядывает то же самое «ничто», пустота домирья, как и из шпионов и сэров Генерально-Астрального штаба. Он символ крушения мира, в котором нарратор отвечает за бла-

гополучие младенца-Духа и несет его в себе как драгоценную чашу Грааля.

Посвятительный путь несения чаши полностью повторяет земной путь Христа, включая дословное воспроизведение топонимов: «Раскинулись куши, где я пребывал сорок восемь часов и откуда прошел я, дивясь и радуясь миссии, мне предначертанной, – в тайные вечера; благословил Копенгаген меня; мы торжественным шествием проходили Берлин: в мои ночи – в саду Гефсиманском – близ Лейпцига, на могилу у Ницше, откуда принес я три листика, – после – упала колючая часть, терзая чело многострадальными днями тяжелого Дорнаха; этот венец я надел в дни падения Варшавы и Бреста; приподнял свой крест; и – безропотно ныне несу его Родине; там, водрузивши, отдам мое тело приставленным воинам; посередине арбатской квартиры повисну» [6. С. 432].

Белый продолжает линию образов, заложенных в первых «детских повестях», но развивает ее, соединяя мифы младенческого сознания с мировидением взрослого через воздействие на них Духа. При этом сходств с образами «Котика Летаева» и «Крещеного китайца» гораздо больше, чем отличий от них – Дух словно бы понуждает рыцаря обратиться к своему внутреннему ребенку, припомнить ту страну, в которой он был до рождения, вернуться в свое детское «Я», в те времена, когда границы между Духом и человеком были стерты. Циклический путь, пройденный ребенком от младенца до взрослого, от ощущающей души до рассуждающей и наконец самосознающей, заканчивается возвращением в точку его начала. Правда, теперь этот путь становится осознанным и художественно осмысленным. Посвятительное путешествие рыцаря позволяет ему пресуществить те далекие, дионисийские, хаотические впечатления детства в произведение искусства.

Связь рыцаря с младенцем у Белого раскрыта также через традиционный как для мифа, так и для романа мотив – погружение в сон. Мотив сна непосредственно связан с концептом рыцарства. Согласно легенде король Артур, получивший смертельную рану в битве с Мордредом, спит вечным сном на волшебном острове Авалон и проснется во время новой великой войны, чтобы спасти Британию. Сон также – неизменный атрибут детства, одновременно эмпирический и символический. Большую часть своего младенчества ребенок проводит во сне, который помогает ему, подобно королю Артуру, набираться сил.

Для А. Белого сон становится приемом медиации, связки между миром сакральным и реальным. Сон обладает возможностью умножения масок, миров, интертекстов. В подобном хронотопе происходит удвоение смыслов: сон-медиатор как символ портала и символизм каждого отдельного элемента сна.

Сны в «Записках чудака» подчинены антилогике детского мировидения. Но так как сняты они не просто человеку, но рыцарю, соединенному с младенцем-Духом, то воскрешенные детским сознанием сказочные мотивы значительно видоизменяются и приобретают черты не символа, а символа-романа. Такова, например, волшебная история о Генерально-Астральном штабе.

В реальности нарратор спит, а во сне бодрствует. И в этом сне-жизни (астрале) его посещают представители разведок всех стран, в том числе немецкой, и подкупают его, подсовывая в душу «астральное золото», в астральное тело вводится «германин», после чего «чудак» превращается в бомбу. По отклонению стрелки символического сейсмографа сыщики определяют миг возрождения души в Духе и пускаются в погоню, одновременно преследуя «младенца» и в астрале, и в его физическом теле: «Едва душа вынырнет из повседневного сна и раскроется, как цветок, по направлению к свету: как... – выстрелит мина; и сэр сообщит, куда следует, что родился “младенец”» [6. С. 290].

Сон в «Записках чудака» воспринимается Белым как посвяtitельный путь Духа, на который ступила самосознающая душа. Повествователь совершает путешествие на поезде, плывет на пароме, посещает консульства разных стран, гуляет по Лондону, отмечается в Генерально-Астральном штабе, сновидит наяву и бодрствует во сне. В настоящее повествовательное время вплетаются ретроспективы разной степени удаленности от момента наррации. Это и воспоминания из раннего детства, затем гимназия, лето в тульском имении, путешествие с Нэлли по городам Европы, Тунису, Египту и странам Ближнего Востока. Переплетение событий столь тесное, что создает эффект словесного укачивания. Как комната в Норвегии была лишь лодкой меж фьордами, так и текст Белого формой напоминает шхуну, на которой читатель плывет вместе с младенцем «Я». Неясно, чем закончится этот путь и доберется ли корабль до пункта назначения. Возможно, в реальности путешествия не было вовсе: «Может быть, я заснул: среди зеленых диванов московского кабинета; и – мне пригрезилась: Нэлли, уведшая в светлые дали меня; происшествия нашей жизни – приснившийся сон» [6. С. 488].

Для Белого носить младенца в себе – значит быть открытым духовному опыту, переплавить свое «я» в чистый символ, в миф о Духе. Но чтобы соприкоснуться с мифом, нужно стереть границы между сном и реальностью, словом и символом, сознанием взрослого и ребенка, оказаться в междумирье, моменте перехода в инобытие. Открытие в себе младенца, т.е. досознательного опыта и миров иных, требует, во-первых, отказа от себя как существа, не причастного коллективному Духу, и вступления на путь жертвенного рыцарства, а во-вторых, катарсического напряжения эмоций, мистериальной драмы.

Мотив жертвоприношения объединяет триаду повестей. Это еще один важный элемент для анализа символической пары образов «ребенок-рыцарь». Так, духовный учитель Белого Рудольф Штейнер утверждал, что душа в мире ищет путь к божественному, к собственной «мистерии Голгофы» [7]. Сравним с этим желанием мысли Котика Летаева: «...то придвинется стая женщин с крестом: положит на стол; и меня на столе, пригвоздит ко кресту. О распятии на кресте уже слышал от папы я. Жду его» [6. С. 153]. Жертвоприношение – ключевая сюжетная схема мифа, способ преодоления хаоса, созидания мира через добровольную смерть демиурга. Данный паттерн был

заимствован как сказкой (художественное осмысление обряда инициации, в котором происходит символическая смерть посвящаемого юноши), так и рыцарским романом. В «Крещеном китайце» мифологема распятия играет формообразующую роль: «А когда доходило до жертвы, то мы упирались естественно в гущу семейных забот, потому что моею домашней заботой была именно, – жертва: достойно возлечь на огромнейшем камне, чтобы достойно быть закланным: мамою!» [6. С. 271]. Котик Летаев считает отца создателем и устройтеlem вселенной, имеющим право требовать отчет об исполнении заветов у древних пророков, но также и отправить на заклание.

За символической смертью следует ритуальное очищение и возрождение. Катарсис осуществляется через приобщение к опыту любви, что одинаково справедливо и для пространства куртуазного романа, и для хронотопа детства. Эмотив «любовь» соединяет отдельные главы повести «Записки чудака» в единое лирико-поэтическое полотно. Повествователь «любуется» Нэлли: она представляется ему то юным ангелом, то посвяtitельным вестником забытых мистерий, то тонким монашеским, то феей, но, безусловно, всегда олицетворяет Вечную Женственность мира. Это ли не Дульсинея, которой посвящает свои подвиги Дон Кихот?

Нарратор влюблен в глубоко символическую, овеянную Духом природу имения Серебряный Колодезь – он «плачет от нежности» и «исходит любовью», переживает «пылкую любовь к «я» в себе». Ощущение Духа, пронизывающего все живое, побуждает повествователя любить и своего учителя, и нищего в Копенгагене («был охвачен приливом любви перед этой убогой жизнью» [6. С. 303]), любить все до степени растворения в этой любви «ни к чему, ни к кому»: «Стоял, как осыпанный градом ударов, разорванный взрывами мыслей, терзающих все существо бесконечною силой любви» [Там же. С. 335].

Духовную болезнь «чудака» Белый выводит из неспособности выдержать «мощный напор любви». Повествовательное донкихотство, гибель во имя высокого чувства укладываются в традиционную схему рыцарского средневекового романа.

Говоря о рыцарстве, нельзя не упомянуть о традиции освящения оружия, благословения воина христианской церковью, обычае препоясывать мечом юного рыцаря. В тексте Белого подобный ритуал совершается на символическом уровне, с помощью «слова живого». Перед автором стоит грандиозная по своей задумке задача – говорить сразу за трех героев, воплощенных в одном: за ребенка, рыцаря и Духа. В силу этого любая попытка высказывания сводится к поиску некоего универсального языка, очищенного от стилизации и требований литературного жанра. Для этого Белый делает то же самое, что и Котик Летаев в одноименной повести – возвращает слову его внутреннюю форму.

По убеждению Белого, красота, софийность мира зашифрована и скрыта от глаз непосвященных так же, как красный мир хаоса, или, по-другому, Генерально-Астральный штаб Аримана. Шифр есть и у слова божьего, и у слова черта. Шифр проступает сквозь шрифт, на котором пишется каждый новый день жиз-

ни. Это могут быть иконические знаки на улицах городов, жесты «сэров», эмблемы торговых фирм. Любопытно неверно истолкованный знак грозит обернуться своей полной противоположностью. Доказательство этому – история со знаком треугольника (символ Св. Грааля), который стали печатать на калошах. Для Белого сознательное снижение сакрального символа до эмблемы – проделка черта: «Созерцание треугольника на калоше, которою топчем мы (знак божества!), есть пародия на обряд: и неспроста святым этим знаком давно штемпелюют калоши; и ежедневно мы топчем в грязи властный знак божества» [6. С. 349]. И если повествователь, сознание которого выгранено Духом, готовится распять себя и повиснуть «резной пентаграммой под куполом храма», то жесты злых сил, промысляющих поисками младенца, собираются этот храм разрушить.

Задача рыцаря – воспользоваться словом как оружием, а шифром, т.е. символом, как щитом: «Выучились ли мы читать историю? Если выучились, – наша

помощь уже с нами, в нас, в отовсюду проступающей шифре; если шифр этот не до конца нам ясен, – значит надо искать учителя грамоты; где этот учитель? Самопознание» [8. С. 372].

Рыцарю, ведущему борьбу с драконом времени Ариманом, необходимо новое слово, так как его цель – сохранить в себе символического младенца, говорящего на языке Духа и ставшего связующим звеном между памятью мифа и моментом настоящего времени. Вопрос о «слове живом» поставлен Белым в повести «Котик Летаев». Следующие за ней тексты продолжают исследование этой темы. Таким образом, миф о пути Белого раскрывается через эволюцию его образного мира и представляет собой масштабное трехчастное художественное полотно, составленное из отдельных символических новелл. Их героями выступают биографический младенец (мифологическое сознание, душа ощущающая), рыцарь (герой, ищущий теозиса) и символический ребенок (душа самосознающая).

ЛИТЕРАТУРА

1. Глухова Е.В. «Посвятительный миф» в биографии и творчестве А. Белого : автореф. дис. М., 1998. 24 с.
2. Минц З.Г. «Миф о пути» и эволюция писателей-символистов // Поэтика русского символизма. СПб. : Искусство-СПб., 2004. С. 140–143.
3. Мандельштам О.Э. Андрей Белый. Записки чудака. Берлин, 1922 г. // Сочинения : в 2 т. Проза / сост. и подгот. текста С. Аверинцева, П. Нерлера. М. : Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 292–294.
4. Глухова Е.В. Письма А.Р. Минцловой к Андрею Белому: материалы к розенкрейцеровскому сюжету в русском символизме // Русская антропологическая школа. Труды. Ч. 2, вып. 4. М. : Изд-во РГГУ, 2007. С. 215–270.
5. Берберова Н.Н. Курсив мой: автобиография. М. : Согласие, 1999. 736 с.
6. Белый А. Собрание сочинений. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М. : Республика, 1997. 543 с.
7. Штейнер Р. Христос и человеческая душа. М. : Антропософия, 1999. 432 с.
8. Белый А. Душа самосознающая. М. : Канон+, 2004. 560 с.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 20 октября 2018 г.

The Connection Between the Images of a Child-Knight in the Triad of “Autobiographical” Stories by Andrei Bely

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2019, 440, 18–23.

DOI: 10.17223/15617793/440/2

Nataliya O. Kononova, A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: nataliyaolkon@mail.ru

Keywords: knight; child; Notes of an Eccentric; Kotik Letaev; The Baptized Chinaman; Bely; mediation.

The connection between the images of a *child-knight* in the triad of Andrei Bely’s “autobiographical” stories (*Kotik Letaev*, *The Baptized Chinaman*, *Notes of an Eccentric*) is analyzed in this article through cultural-historical, comparative and mythopoetic methods. Bely’s stories are organized by a row of crucial images, which have the potential to evolve and substitute one another in the chronotope of the plain and cyclic time. One of these symbolic pairs includes a knight and a child. Bely considers a child as a part of this symbolic chain but also as a link-mediator between the spaces of different virtual realities (a myth, a fairytale and heroic epos). Repeated images merge the “autobiographical” stories, which form a symbolic triad. It is important that the structure of Bely’s literary works and the scheme of his own destiny comply with the triadic concept. The road of initiation begins in mythological pre-existence (*Kotik Letaev*). Afterwards the child oversteps the border between sub-consciousness and reality discovering the new universe (*The Baptized Chinaman*). *Notes of an Eccentric* is the culmination of this course. The child agrees to be crowned by consciousness and therefore sacrifices his link with the myth and makes his first steps on the knight road. Bely postulates that knight-hood is the preserving of an inner child within the soul in spite of numerous “barbaric” invasions. The link between a knight and a child is shown through the sum of motives traditional for knight novels, such as love, a weapon, a dream and a new word. *Notes of an Eccentric* contains the images of snakes and dragons from *Kotik Letaev* and from the fairytale reality of *The Baptized Chinaman*. The sacrifice motif is also common for the stories. A hero awaits purification and resurrection after his symbolic death through the power of love, which is true for a knight novel and for a childhood chronotope. The connection between a knight and a child emphasizes through another traditional motif – a dream. A dream in *Notes of an Eccentric* is a road of initiation for a self-conscious soul. There is a tradition of sword sanctification in knight culture. This ritual in Bely’s stories is conducted by creation of new symbols, vibrant and dynamic words. The hero searches for special language free from stylization and literary genre demands. For these purposes Bely returns words their inner forms. The same method is used by Kotik Letaev in the eponymous story. In the triad of stories, the “myth of a life course” is comprehended through evolution of the motives – from a biographical child, which represents mythological consciousness and a sentient soul, to a knight (a hero in search of theosis) and in the end to the symbolic child (a self-conscious soul).

REFERENCES

1. Glukhova, E.V. (1998) "*Posvyatitel'nyy mif*" v biografii i tvorchestve A. Belogo [An "Initiation Myth" in the biography and works of A. Bely]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
2. Mints, Z.G. (2004) *Poetika russkogo simbolizma* [Poetics of Russian Symbolism]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb. pp. 140–143.
3. Mandel'shtam, O.E. (1990) *Sochineniya: v 2 t.* [Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khudozh. lit. pp. 292–294.
4. Glukhova, E.V. (2007) Pis'ma A.R. Mintslovoy k Andreyu Belomu: materialy k rozenkrejtserovskomu syuzhetu v russkom simbolizme [Letters from A.R. Mintslova to Andrei Bely: materials for the Rosicrucian plot in Russian symbolism]. In: *Russkaya antropologicheskaya shkola. Trudy* [Russian anthropological school. Proceedings]. Pt. 2, Is. 4. Moscow: RSUH. pp. 215–270.
5. Berberova, N.N. (1999) *Kursiv moy: avtobiografiya* [The italics are mine: autobiography]. Moscow: Soglasie.
6. Belyy, A. (1997) *Sobranie sochineniy. Kotik Letaev. Kreshchenyy kitaets. Zapiski chudaka* [Collected Works. Kotik Letaev. The Baptized Chinaman. Notes of an Eccentric]. Moscow: Respublika.
7. Steiner, R. (1999) *Khristos i chelovecheskaya dusha* [Christ and the human soul]. Translated from English. Moscow: Antroposofiya.
8. Belyy, A. (2004) *Dusha samosoznayushchaya* [A self-conscious soul]. Moscow: Kanon+.

Received: 20 October 2018